

УДК 821.161.1-94 + 821.133.1-94 + 82(091) + 94(4)

Е. Е. Приказчикова

ПО ЗАКОНАМ ЧЕСТИ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ: ВОЕННАЯ МЕМУАРНАЯ ЛИТЕРАТУРА НАПОЛЕОНОВСКОЙ ЭПОХИ

Рассматриваются основные направления реализации культа чести и «законов чувствительности» в русской и французской словесности 1-й пол. XIX в. на материале мемуарно-автобиографической литературы. Отражение этих важнейших черт культурно-исторического менталитета людей Наполеоновской эпохи исследуется на примере широкого круга автодокументальных источников, принадлежащих перу русских и французских авторов. Анализируется влияние гуманистического дискурса Наполеоновской эпохи на художественное творчество авторов 1-й пол. XIX в., обращавшихся к изображению событий Отечественной войны 1812 г.

К л ю ч е в ы е с л о в а: культ чести; законы чувствительности; Наполеоновские войны; культурно-историческая ментальность; мемуарно-автобиографическая литература.

Эпоха Наполеоновских войн занимает особое место в европейской культурной истории. Пожалуй, это единственная эпоха Нового времени, в которую война еще выполняла культурно-эстетические функции, находящие свое отражение как в бытовом поведении и менталитете ее современников, так и в европейской словесности, прежде всего в мемуарно-автобиографической литературе,

создателями которой были участники грандиозных исторических событий начала XIX в.

Именно автодокументальная литература, являясь, по словам А. Гладкова, «окном в прошлое», помогает исследователю осуществить историко-психологическую реконструкцию культурно-исторического менталитета той или иной эпохи главным образом через использование метода контент-анализа [Гладков, с.122].

Данный метод позволяет выделить основную черту исторической репрезентации Наполеоновской эпохи как эпохи глаорифицированной и мифологизированной. «Век бурный, дивный век» (Д. Давыдов) был охарактеризован Ф. Булгариним в его «Воспоминаниях» как «чудная эпоха, которая не скоро повторится на земле, эпоха истинно мифологическая!» [Булгарин, с. 171].

Исторический тип личности, сформированный Наполеоновской эпохой, неизменно привлекал симпатии потомков. В XX в. исследователь В. Афанасьев, желая объяснить психологию поведения писательницы Н. А. Дуровой или поэта-партизана Д. Давыдова, отмечал: «Это было время Наполеона и Суворова, время, выковавшее беззаветных храбрецов, исполненных острого чувства патриотизма, людей особенного склада, в которых суровая мужественность уживалась с глубокими и разнообразными знаниями, утонченностью эстетических идеалов, а иногда и с незаурядными талантами. <...> Это были люди, которые не испытывали страха среди ядер и пуль. Их портреты в галерее 1812 года парадны, романтично-красивы, как красива и романтична вся эта бурная и окуренная порохом эпоха на картинах и гравюрах, оставшихся от нее» [Афанасьев, с. 5–6]. Эта романтическая красивость, безусловная эстетическая привлекательность эпохи, в которую искусство стало моделью, которой стремилась подражать реальная действительность, а люди даже в условиях военных действий вели себя зачастую как на сцене, была одной из основных причин, обеспечивающих позитивную маркированность эпохи в глазах последующих поколений.

Историческую психологию людей Наполеоновской эпохи характеризует несколько важных моментов, объясняющих специфику самоидентификации человека в мемуарном тексте. В первую очередь это существование в контексте мифориторической культуры, которая, по словам А. В. Михайлова, «основывается на готовом слове и пользуется только им» [Михайлов, с. 310]. В данной культуре в качестве «готового слова» чаще всего выступает античный ономоимиф, миф имени, когда человек мыслит себя Горацием Коклесом, Брутом, Фемистоклом, сразу же актуализируя те культурные смыслы, которые стоят за этими словами. «Мифориторическое» поведение человека на рубеже XVIII–XIX вв. представляло собой заключительный этап культурно-литературной ситуации, которую С. Николаев охарактеризовал как антикизацию русской культуры XVIII в. [Николаев, с. 85].

Важными чертами личностной самоидентификации человека, принадлежащего к военной субкультуре того времени, был культ ритуального буйства и специфический тип героизма, равно близкий сердцу как французам, так и русским, который известный французский драматург Э. Ростан

охарактеризовал словом «панаш» (от фр. *panache* — рыцарский султан). Панаш, понимаемый как «душа отваги», предписывал шутить перед лицом опасности, видя в этом проявление высшей вежливости. Данные черты культурно-исторического менталитета людей Наполеоновской эпохи были достаточно хорошо проанализированы в статье Ю. М. Лотмана «Декабрист в повседневной жизни. Бытовое поведение как историко-психологическая категория», монографии «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII— начало XIX века)» (гл. «Искусство жизни», «Итог пути», «Люди 1812 года»).

Культурно-литературная ситуация Наполеоновской эпохи не может быть представлена без всеобщего увлечения театром, причем театр воспринимался людьми рубежа веков и первых двух десятилетий XIX в. как исходная модель для реальной жизни, ее идеальный образец. В результате этого, по справедливому мнению Ю. М. Лотмана, «...люди... ведут себя в жизни как на сцене» [Лотман, с. 182]. Механизм театрализации действительности мог включать в себя прямую отсылку к конкретной пьесе, чаще всего трагедии, сюжет которой разыгрывался в современности, как это происходило в известном «корнелевском» диалоге Наполеона с корнетом П. Сухтеленем на поле Аустерлица, о котором писал еще Ю. М. Лотман. Театрализация определяла эстетическое переживание сражения, ход которого четко соотносился с элементами композиционной структуры классицистической трагедии, начиная с «выставки лиц» через «игру страстей» к «развязке». Эстетика театра диктовала необходимость блестящей военной формы, которая вносила в боевые действия Наполеоновской эпохи оттенок парадно-романтической красоты, также уподобляя генералов, офицеров и даже солдат актерам на сцене.

Однако все же основным моментом, определяющим типологию отличия Наполеоновской эпохи от следующих за ней периодов европейского военного противостояния, включая I Мировую войну, можно считать ее относительно гуманистический дискурс, заставляющий ее участников жить по законам чести и чувствительности. Для сравнения можно вспомнить, что начиная с последней трети XIX в., когда в России престиж армии и военной службы начинает падать, в обществе появляется запрос на отстаивание кодекса чести офицера. Один из первых примеров подобных работ — статья Э. Свидзинского «О развитии военных познаний и общих принципов в среде офицеров армии», напечатанная в «Военном сборнике» (1875, № 10).

Кульминации данный процесс достигает в период между Русско-японской и I Мировой войнами. Именно в это время в русских журналах, например «Русском инвалиде», «Офицерской жизни», и сборниках во множестве появляются работы, посвященные этической составляющей бытия русского офицерского сословия. К трудам подобного рода можно отнести «О воспитании воли военачальников» Н. Корфа (1906), «Что нужно офицеру в нравственном отношении, чтобы сформировать солдата?» М. Драгомилова (1906), «Этика офицера» Н. Португалова (1909), «Жизненные задачи русского офицера» Л. Толстого (1909), «Офицеры — душа армии» М. Меньшикова (1908), «Новый путь современного офицера» М. Галкина (1907), «Идеал офицера» А. Дмитревского.

С историко-филологической точки зрения наибольший интерес представляет статья А. Дрозд-Бонячевского «“Поединок” А. Куприна с точки зрения строевого офицера», в которой делается попытка объяснить причину падения чести и достоинства российского офицерского корпуса, рассмотренного через призму повести А. И. Куприна. Разумеется, писались работы, в которых в качестве идеала для современников рассматривалась эпоха Наполеоновских войн. Наиболее авторитетным текстом в этом ряду была книга Н. Морозова «Воспитание генерала и офицера как основа побед и поражений. Исторический очерк из жизни русской армии наполеоновских войн и времени плац-парада» (1909).

Анализ понятия чести как исторической и филологической проблемы в русской словесности обычно начинается с исследования древнерусских литературных памятников. К этому вопросу обращались в своих работах Ю. М. Лотман и П. С. Стефанович, Л. А. Черная и А. А. Зимин. Из зарубежных исследователей можно назвать имя Н. Ш. Коллмани с ее монографией «Соединенные честью. Государство и общество в России раннего Нового времени» (2001). Для европейской литературы и исследовательской мысли данная проблема почти всегда неразрывно связывается с этикой рыцарства, что доказывается книгами Ф. Кардини «Истоки средневекового рыцарства», Ж. Руа «История рыцарства», Ж. Флори «Идеология меча. Предыстория рыцарства». Правда, справедливости ради следует отметить, что впервые проблема *тщѣ* как этическая проблема была поставлена еще в «Илиаде» Гомера.

В целом, надо признать, что для восприятия войны как благородно-героического эстетического деяния огромное значение имела традиция рассмотрения ее как рыцарского поединка, благородного занятия истинных мужчин. Эта традиция была неразрывно связана с культом чести, находящим свое отражение и в воинском кодексе чести эпохи, и, в гораздо большей степени, в неписаном кодексе поведения, которым должен был руководствоваться офицер, чтобы не потерять уважение к самому себе, т. е. иметь право воспринимать себя в качестве образца «идеального воина»¹.

Анализ сущности войны как культурной функции человечества был подробно дан в монографии И. Хейзинги «*Nomo ludens*», в которой автор писал: «Война, понимаемая как сфера чести, ведется в границах определенного круга, члены которого признают друг друга равными или, во всяком случае, равноправными. <...> Попав в сферу чести, война становится священным установлением и в этом качестве облачается всем духовным и моральным декором» [Хейзинга, с. 113].

¹ Анализ офицерского кодекса чести российской императорской армии в настоящее время все чаще находится в центре внимания исследователей. В качестве последних работ подобного рода можно назвать кандидатскую диссертацию А. Н. Кондратьева «Этикет офицера русской армии XVIII — начала XX в.» (2011), магистерский проект В. А. Иноземцева «Кодекс чести российских офицеров — от прошлого к будущему» (2012). Не остается без внимания и военная психология солдат наполеоновской армии. Можно вспомнить в этой связи статью В. Земцова «Искусство правильно умирать. Во имя чего шли на смерть французские солдаты», напечатанную в специальном выпуске журнала «Родина» («Россия и Наполеон») в 2002 г. (№ 8).

В эпоху Наполеоновских войн кодекс воинской чести функционировал практически в полной мере, и это находило отражение в литературной традиции эпохи. Так, восприятие войны и военной службы как сферы реализации законов чести мы находим у французского писателя А. де Виньи в книге «Неволя и величие солдата», где звучит настоящий гимн кодексу чести, всецело господствующему в армии и определяющему поведение благородного воина. Виньи пишет: «...убеждение, которое... безраздельно господствует в рядах армии, зовется Честью. <...> Честь — это мужское целомудрие. Позор погрешить против нее для нас нестерпим» [Виньи, с. 135]². В России в изданной в XIX в. книге для офицеров «Наставление к самодисциплине и самовоспитанию, имеющей подзаголовок «Собрание писем старого офицера к своему сыну», читаем: «Истинная честь есть добрая слава, которой мы пользуемся, общее доверие к нашей правдивости и справедливости, к нашей чистосердечной любви к людям» [Наставление к самодисциплине..., с. 96]. Уже в начале XX в. известный военный писатель и публицист М. С. Галкин в работе «Новый путь современного офицера» будет повторять эти старые, но вечные истины: «Честь — святыня офицера, она высшее благо, которое он обязан хранить и держать в чистоте. <...> Честь не терпит и не выносит никакого пятна» [Галкин, с. 370].

К сожалению, культ чести именно Наполеоновской эпохи часто выпадает из поля зрения исследователей, даже специально занимающихся данной проблемой. Например, в работе В. А. Иноземцева «Кодекс чести российских офицеров — от прошлого к будущему» факты уважительного отношения к противнику, а также примеры гуманности и чувства сострадания к побежденному врагу рассматриваются исключительно на примерах войн на Кавказе с Шамилем и Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Л. Л. Ивченко в монографии «Повседневная жизнь русского офицера 1812 года» (2008), подробно рассмотрев все аспекты военного бытия и исторической психологии русского офицерского корпуса эпохи Наполеоновских войн, включая проблемы веры и верности, дружбы, любви, военной моды, юмора в военной среде, именно базовым для мироощущения военной субкультуры понятиям чести и чувствительности внимания не уделяет.

Для добровольного и сознательного исполнения законов чести нужно было воспитать особый тип людей, который смотрел бы на военную службу как на единственное изначально благородное занятие, священное ремесло, формирующее в человеке рыцарские черты характера. Например, писатель И. Лажечников в «Походных записках русского офицера», говоря об идеале истинного воина, писал: «Воспитание есть лучшее украшение воина. Звание его, давая

² Рассматривая культ чести применительно к Наполеоновской эпохе, мы сознательно обходим молчанием наиболее известную и популярную репрезентацию культа чести в культуре и литературе любой эпохи — защиту чести с оружием в руках на дуэли. Во-первых, это связано в том, что данный аспект был уже достаточно хорошо и подробно рассмотрен в работах отечественных исследователей — Ю. М. Лотмана, Я. Гордина, И. Рейфман. Во-вторых, дуэльный кодекс, включая феномен бреттерства, в основном функционировал в условиях не военного, а мирного времени, являясь в качестве «ритуализированной агрессии» (И. Рейфман) своеобразным заместителем опасностей военного времени.

ему особенные преимущества, не присваивает ему право быть грубым, необходимым и жестоким, напротив того, добродушие, любезность и чувствительность должны быть вплетены в венки его вместе с мужеством, твердостью духа и пренебрежением всех опасностей. Грозный, как лев, среди волнений шумящей битвы, кроткий, любезный и сострадательный в мирной хижине — вот отличительные черты истинного воина!» [Лажечников, с. 57—58]. Это мнение Лажечникова основано не только на его личном военном опыте, хотя в послужном списке писателя участие в Петербургском ополчении в 1812 г., служба в качестве адъютанта генерала А. И. Остермана-Толстого во время Заграничных походов русской армии (1813—1814), награждение орденом Святой Анны IV степени за сражение под Бриенном и взятие Парижа. Данный идеал опирался на традиции, которые закладывались еще петровскими указами и «Книгой Марсовой...», в основу которой были положены реляции и описание боевых действий Северной войны. Во второй половине XVIII в. идеалы чести и гуманизма найдут свое отражение в суворовских приказах по армии, в его военных заветах, хорошо известных поколению, к которому принадлежал И. Лажечников.

Дискурс военной мемуарно-автобиографической литературы — как русской, так и французской — дает очень много подтверждений тому, что война рассматривалась людьми Наполеоновской эпохи как священное занятие, регулируемое законами чести. Например, Д. Давыдов в своих «Военных записках» вспоминает, как в свой первый день «во фронте», оказавшись вблизи неприятеля, он стал осыпать отборными ругательствами французского офицера, которого заметил в цепи фланкеров. Такое поведение вызвало укоризненное замечание казачьего урядника: «Сражение — святое дело, ругаться в нем все то же, что в церкви: бог убьет!» [Давыдов, с. 53]. Впоследствии, пытаясь прокомментировать свое тогдашнее безрассудное поведение, Давыдов поясняет, что был увлечен «вдруг овладевшей мной злобой — бог знает за что — на человека мне неизвестного, который исполнял, подобно мне, долг чести и обязанности службы» [Там же]. Мысль о том, что исполнение «долга чести и обязанностей службы» неприятелем есть священное действие, за которое его противник не имеет право его ненавидеть, находится всецело в традициях воинского кодекса чести, как его понимали в эпоху Наполеоновских войн.

Законы чести диктовали рыцарское отношение к пленному неприятелю, проявившему образцы мужества и храбрости, т. е. выступившему в роли идеального воина. Часто образцы такого поведения демонстрировал сам Наполеон. Если случаи с ефрейтором лейб-гвардии Финляндского полка Леонтием Куренным, кавалергардами графом Н. Репниным и поручиком П. Сухтеленем нашли свое отражение в официальных документах, художественных и даже фольклорных текстах, то истории с возвращением шпага русским генералам П. Тучкову и П. Лихачеву стали достоянием мемуарной памяти. П. Тучков в «Моих воспоминаниях о 1812 году», впервые увидевших свет в 1873 г. в «Русском архиве», приводил слова французского императора, подчеркнувшего в разговоре со своим пленником, что таким образом, как я был взят, «берут только тех, которые бывают впереди, но не тех, которые остаются назад» [Тучков, с. 334].

Законы чести диктовали также чувство особого воинского братства «детей Марса» независимо от политических отношений, существовавших в данный момент между их странами. Данное обстоятельство могло приводить к установлению частных дружеских отношений между людьми, принадлежащими к различным военным лагерям и бывшими врагами на поле боя. Например, очень многие русские мемуаристы (В. Левенштерн, А. Булгаков, А. Муравьев, А. Ермолов) писали об «особых» отношениях, сложившихся между генералом М. Милорадовичем и маршалом И. Мюратом, которые во время «тарутинского перемирия» неоднократно встречались друг с другом на аванпостах армии, обмениваясь взаимными любезностями.

Такие же отношения существовали между М. Милорадовичем и О. Себастиани, командиром кавалерийской дивизии в корпусе Л. П. Монбрена. Так, Ф. Акинфов в своих записках вспоминает, как при отступлении русской армии от Москвы М. Милорадович «поехал к неприятельским аванпостам, спросил генерала Себастиани и, обрадовшись друг другу, предложил ему не проливать крови в день их свидания» [Акинфов, с. 185].

Еще в большей степени идея братства людей независимо от того, к какому военно-политическому лагерю они принадлежат, проявляется на примере взаимоотношений пленников и их победителей. Например, адъютант Наполеона генерал Ф. Сегюр повествует в своих записках о том, что после взятия французами Москвы русские пленные долгое время вообще не содержались под стражей и жили вместе с французами в самых дружеских отношениях. В свою очередь, И. Лажечников в «Походных записках русского офицера» свидетельствует, что сразу же после известия о взятии Парижа, «победители (т. е. русские. — Е. П.) в упоении своей радости, не видя более в побежденных пленников своих, ищут разделить с ними настоящее торжество разными исканиями и уверением в скорой их свободе» [Лажечников, с. 44—45]. Подобное братство людей зарождается между Д. Давыдовым и его пленников, поручиком гусарского полка Тилингом, которому Давыдов возвращает не только кольцо любимой им женщины, о чем тот просил, но и портрет, волосы и письма, ему принадлежащие. Давыдов пишет: «Чувства узника моего отозвались в душе моей. Легко можете вообразить взрыв моей радости при встрече с человеком, у одного алтаря служившим одному божеству со мной» [Давыдов, с. 182]. Такой же эпизод мы встречаем в «Записках» графа С. Волконского, где тот рассказывает о пленении казаками его партизанского отряда французского генерала Корсена вместе с его адъютантами, которых мемуарист «старается обращением... утешить... в случившейся с ним беде» и заставляет казаков вернуть генералу книжник с портретом его жены [Волконский, с. 228—229].

Тот факт, что пленный офицер в определенном смысле считался «собственностью» и «гостем» своего победителя (в соответствии с традицией, опять же восходящей к рыцарским временам), также не мог не способствовать зарождению частных дружеских отношений. При этом следует иметь в виду, что, в отличие от настоящего времени, пленник той эпохи не находился целиком и полностью на государственном обеспечении пленившей его страны. Так же как в эпоху рыцарей, он должен был в идеале находить «покровителей» из числа

офицеров неприятельской армии или просто граждан неприятельской страны, которые взяли бы на себя труд заботиться о его насущных нуждах. Очень интересные сведения на этот счет можно получить в «Военных записках» Д. Давыдова. Так, вспоминая пленение своего брата, кавалергардского офицера Евдокима Давыдова, под Аустерлицем, он повествует о благородном поведении по отношению к нему поручика французского конногренадерского полка Серюга, который окружил его поистине братской заботой: поделился последним куском хлеба, отдал ему свою лошадь, нашел повозку, чтобы отвезти раненого и постоянно впадающего в забытие Евдокима в Брюн, помог устроить его в военный госпиталь и обязал в случае необходимости обращаться к своему дяде, министру иностранных дел Х. Б. Мааре. Благородное поведение Серюга не оказывается без вознаграждения, вызывая уже со стороны Д. Давыдова плату долга чести. Когда смертельно раненный в сражении под Прейсиш-Эйлау Серюг попадает в плен к русским, Давыдов принимает самое горячее участие в его судьбе, сумев скрасить братской заботой последние дни его жизни. В «Дневнике партизанских действий» приводится эпизод, когда крестьяне окрестных сел приводят к нему шесть французских бродяг, среди которых оказывается барабанщик молодой гвардии Венциан Босс, «пятнадцатилетний юноша, оторванный от объятий родительских и, как ранний цвет, перевезенный за три тысячи верст под русское лезвие и на русские морозы» [Давыдов, с. 193]. Не желая «предать несчастного случайностям голодного, холодного и бесприютного странствия, имея средства к его спасению» [Там же], Давыдов решил оставить Босса в отряде и, таким образом, «сквозь успехи и неудачи... довез его до Парижа... и... передал его из рук в руки престарелому отцу его» [Там же]. Что касается судьбы оставшихся пяти бродяг, то в отношении будущности людей, не удостоенных личного покровительства кого-либо, Давыдов достаточно пессимистичен: «они... вероятно, погибли или на пути или на месте с тысячами своих товарищей, которые сделались жертвою лихоимства приставов и равнодушия гражданских чиновников к страждущему человечеству» [Там же, с. 192]

Личная честная благотворительность в обход официальных государственных каналов была традицией начала XIX в. Подобных примеров можно привести очень много, и военная мемуарно-автобиографическая литература первой половины XIX в. дает нам возможность погрузиться в атмосферу этих человеколюбивых благодеяний.

Когда в сражении под Валутиной горой в плен к французам попал раненый генерал П. Тучков, то он стал личным гостем начальника французского штаба маршала А. Бертье, который окружил его дружеской заботой: пригласил к нему Ж. Д. Ларрея, главного хирурга французской армии, нашел женщину, которая могла бы выстирать генералу запачканный кровью мундир, дал ему белье из своего гардероба, ссудил на первое время достаточно большой суммой денег. Кроме того, мемуарист отмечает в «Моих воспоминаниях о 1812 годе», что «с самого почти утра до вечера беспрестанно посещали меня разные чиновники, бывшие при главном штабе армии, предлагая всевозможные услуги свои, и коих учтивое и хорошее обращение со мной заставило меня иметь к ним всякое

уважение» [Тучков, с. 236]. Естественно, что все услуги предлагались от себя лично, а не от имени государства. Д. Давыдов рассказывает в «Военных записках» о дружеских отношениях, которые сложились между начальником штаба 1-й Западной армии А. Ермоловым и французским артиллерийским полковником Марионом, который долгое время пользовался гостеприимством А. Ермолова, живя в его доме в Орле. Марион был взят в плен адъютантом А. Ермолова П. Граббе, т. е. в определенном смысле мог почитаться личным пленником будущего «покорителя Кавказа». А. Ермолов приютил у себя, по его признанию в «Записках», престарелого полковника Николая, угощавшего императора Александра в своем полку во время заключения Тильзитского мира [см.: Ермолов, с. 191].

Офицер А. Норов, ставший впоследствии министром народного просвещения, тяжело раненный в Бородинском сражении и оставленный в Москве вместе со многими другими русскими офицерами, рассказывает в своих воспоминаниях, с какой заботой относился к нему генерал А. Лористон, бывший в 1811 г. послом Франции в России и знакомый А. Норову по петербургским светским кругам: «Он оказал мне самое теплое участие, заявив, чтобы я относился к нему во всем, что будет мне нужно, и обещал присылать навещать обо мне, а в тот же день прислал мне миску с бульоном» [Норов, с. 369]. Декабрист М. Фонвизин, по воспоминаниям М. Францевой, в кампании 1814 г. был взят в плен вместе со своим дивизионным командиром З. Олсуфьевым и всем русским отрядом во время ночной атаки маршала Н. Ш. Удино. Удино снабдил Фонвизина рекомендательным письмом к своим друзьям в Париже, где будущий декабрист был ласково принят и жил на свободе [Францева, с. 166]. Также на свободе, не испытывая ни в чем недостатка, жил во Франции второй брат Д. Давыдова, Лев, который послужил, по свидетельству А. С. Пушкина, прототипом лирического героя элегии К. Батюшкова «Пленный». Наконец, Н. Дурова в «Записках» пишет, что осенью — зимой 1812 г. в доме ее отца жили пять французских офицеров, с которыми мемуаристка находилась в самых дружеских отношениях [Дурова, с. 193].

В целом, можно сказать, что в подобных частных взаимоотношениях людей, в обход и вопреки состоянию общественно-политической и военной вражды, нашла свое воплощение идея всеобщего братства людей — естественное следствие гуманистического духа эпохи. Только имея в виду это обстоятельство, становится понятным, почему фанатичный враг Наполеона и французов граф Ф. Ростопчин вплоть до вступления неприятеля в Москву, садился дома обедать вместе с пленным французским генералом Сен-Женье. А не менее страстный противник французов и личный враг Наполеона генерал Ф. Винценгероде, командуя в 1812 г. армейским партизанским отрядом, по свидетельству А. Шаховского, неизменно приглашал за стол вместе с партизанскими офицерами и офицерами ополчения плененных казаками французских офицеров [см.: Шаховской, с. 378].

Важнейшей чертой, характеризующей культурно-исторический менталитет людей Наполеоновской эпохи, было органичное сосуществование рядом с культом чести и законов чувствительности. «Законы чувствительности»,

как их понимали в 1-й трети XIX в., не были связаны с традицией сентименталистского изображения действительности, хотя нельзя отрицать того факта, что мемуарные произведения 1810-х гг. (А. Чичерина, И. Лажечникова, Ф. Глинка) находятся под сильным влиянием сентименталистской эстетики, что находит отражение и в образе чувствительного автора, и в выборе языковых средств характеристики «чувствительных» эпизодов.

Однако чаще всего в мемуарно-автобиографической литературе наполеоновского времени чувствительность выступает как черта исторической психологии, отражающая специфику самосознания человека того времени. Не случайно одним из самых известных афоризмов Наполеона, обращенных к армии, был призыв «Будьте всегда добрыми и храбрыми» [Наполеон, с. 614].

Прежде всего идеал чувствительного поведения проявляется при характеристике действующих лиц записок — офицеров, генералов, маршалов. Мужество, не облагороженное чертами высокого гуманизма, носящее оттенок свирепости, неизменно подвергается резкой критике.

В этой связи примечателен разговор Д. Давыдова с А. Фигнером, изложенный в «Дневнике партизанских действий». На просьбу Фигнера позволить «растерзать» пленных Давыдова его новым («ненатравленным») казакам мемуарист отвечает: «Не лишай меня, Александр Самойлович, заблуждения. <...> Если солдатская честь и сострадание к несчастью, — предрассудки, то их предпочитаю твоему рассудку» [Давыдов, с. 204]. Само собой разумеется, что чувствительность в высшей степени присуща двум «баярдам» эпохи — маршалу И. Мюрату и генералу М. Милорадовичу. Так, современники-мемуаристы, восхищаясь героической храбростью Милорадовича, не забывали отметить его человеколюбие. Ф. Глинка в «Письмах русского офицера» подчеркивает: «Его и самые неприятели любят, вероятно за то, что он, сострадая об них по человечеству, дает последний свой запас и деньги пленным» [Глинка, с. 95].

Черты чувствительности неизменно подчеркиваются и при характеристике И. Мюрата. Например, Л. Ф. Боссе описывает в своих записках эпизод встречи И. Мюрата с казаками, во время которой «обращались они к великодушию победителя, поручая ему многочисленных раненых, которых они должны были оставить» [Боссе, с. 207]. После ласкового приема неаполитанского короля и уверений его, что «сомневаться в лояльности французской армии значило не знать ее», казаки говорят, «что великодушные этого героя французской армии равно его храбрости» [Там же]. Офицер Ц. Ложье, описывая пожар Москвы 17 и 18 сентября и бедствия московских жителей, отмечает, что многие жители «направляются в дом Разумовского, где остановился неаполитанский король, который гуманно относится к ним и старается оказать всякого рода помощь» [Ложье, с. 109].

Таким образом, говоря о причинах, позволивших именно И. Мюрату и М. Милорадовичу добиться чрезвычайной популярности в армии, стать своеобразным символом эпохи, можно сказать, что идеал истинного воина, рыцаря без страха и упрека Наполеоновской эпохи предполагал органичный синтез трех составляющих элементов — героической внешности, блестящей храбрости и истинного человеколюбия.

Среди обширного корпуса мемуарных источников, посвященных событиям той поры, просто невозможно обнаружить текст, в котором так или иначе не затрагивалась бы проблема чувствительности; нет героя, при характеристике которого «доброта» не являлась бы неотъемлемой чертой его натуры. Можно вспомнить изображение генерала Я. Кульнева в «Военных записках» Д. Давыдова, французских маршалов П. Ожеро и Ж. Ланна в воспоминаниях генерала М. де Марбо, маршала М. Нея в мемуарах Ф. Сегюра, маршала Ж. Бессьера в записках С. Н. Глинки.

Само собой разумеется, что чертами чувствительного человека наделяется в мемуарной литературе и сам Наполеон. Так, в записках Ф. Сегюра французский император трогательно заботится о русских раненых, оставшихся на Бородинском поле, и заявляет, что «после победы нет врагов, а есть только люди» [Сегюр, с. 111]. Упоминание об этом эпизоде есть и в записках польского графа Р. Солтыка: «[Наполеон] разослал всех офицеров своего штаба, чтобы ускорить дело и оказать этим раненым [русским] быструю помощь. Наполеон принимал в них самое горячее участие, и я видел, как его глаза не раз наполнялись слезами. Бесстрашный и спокойный во время сражения, он был гуманен и чувствителен после победы» [Солтык, с. 177].

М. Орлов в статье «Капитуляция Парижа», анализируя «варварский» приказ Наполеона взорвать Гренельский пороховой склад в Париже и в одних общих развалинах погresti и врагов и друзей», тем не менее считает своим долгом заявить: «И, однако ж, Наполеон не был кровожаден! Сердце его в дружеских беседах часто открывалось для самых нежных ощущений; он тысячу раз доказал в продолжение государственной жизни своей, что эта официальная жестокость была не столько природная, как притворная» [Орлов, с. 21].

Пример, подаваемый начальниками, влиял на поведение подчиненных, определяя общие структурообразующие принципы изображения человека в мемуарном тексте. Чаще всего «чувствительный» эпизод или цепь эпизодов, выстроенных по кумулятивной логике, позволяли автору-мемуаристу доказать, что именно такой тип поведения может обеспечить человеку уважение окружающих, благосклонность начальства и, значит, блестящую карьеру, даже помимо христианской составляющей данного типа поведения, в целом очень значимой для дискурса русской военной мемуаристики Наполеоновской эпохи. Знаковая для русской словесности антитеза «чувствительный — холодный» в контексте военной мемуарной литературы часто трансформируется в антитезу «чувствительный — жестокий», где жестокий неизменно оказывается в проигрыше, лишается доверия начальства или просто погибает. Так происходит, например, с соперником Д. Давыдова по партизанским поискам 1812 г. А. С. Фигнером, чья холодная и бездушная жестокость отталкивала от него даже самых близких людей.

Напротив, человеколюбивая самоотверженность Марселина де Марбо, на глазах императора Наполеона бросившегося в ледяную купель Зачанского пруда после битвы при Аустерлице, чтобы спасти жизнь раненого русского унтер-офицера, лежащего на льдине, приводит к противоположному результату. Император удостаивает его своей похвалы, запоминает его имя и впоследствии

часто использует для выполнения специальных заданий, требующих находчивости и мужества. Хотя Марбо не скрывает, что человеколюбивое поведение могло стоить ему здоровья и даже жизни. Он пишет: «Ледяная баня, которую мне пришлось принять, и действительно нечеловеческие усилия, предпринятые нами (вместе с офицером Руместайном. — *Е. П.*), чтобы спасти этого несчастного, могли мне дорого стоить, если бы я был не так молод, не так силен» [Марбо, с. 165]. Уже в XX в. эпизод из записок М. де Марбо был включен в роман Б. Окуджавы «Свидание с Бонапартом» для характеристики исторической психологии поколения 1812 г.

Эталонное чувствительное поведение требовало в идеале гуманного отношения ко всем людям, будь то неприятель или мирные жители завоеванной страны. Так, все французские мемуаристы — Ц. Ложье, Е. Лабом, В. де Маренгоне, А. Монтескью-Фезензак, Делаво — с огромным сочувствием пишут о страданиях русского населения Москвы в охваченном пожаром и грабежом городе. Образы несчастных жителей, «изнуренных голодом, усталостью, страданием, ужасом» (Ц. Ложье), которые, «оставшись без пристанища, не знали, где найти спасения» (Е. Лабом), «плакавших при виде этих ужасных беспорядков» (В. де Маренгоне), неизменно потрясают душу авторов мемуаров. Так, В. де Маренгоне, возвращаясь в свой полк после неудачной попытки потушить пожар, пишет: «Оно [поручение] принесло мне только много забот, но не дало даже возможности оказать помощь несчастным, бедствия которых были ужасны. Я был глубоко взволнован» [Маренгоне, с. 20]. Е. Лабом, видя бедственное положение хозяина дома, у которого мемуарист остановился до пожара и который предстал теперь перед ним в лохмотьях, признается: «При виде этой раздирающей картины у меня заныло сердце; ища средств, чтобы облегчить его страдания, я боялся, что не смогу ему ничего дать, кроме бесплодных утешений» [Лабом, с. 225].

Разумеется, мемуаристы не остаются безучастными свидетелями этих возмутительных для чувствительных сердец сцен, стараясь по мере своих сил помогать погорельцам и беженцам. Так, Делаво на свои средства содержит русскую семью, состоящую из пяти человек, Е. Лабом с риском для жизни спасает из огня семью своих квартирных хозяев. Кастеллан, офицер из штаба Наполеона, вместе со своими товарищами дает конвой толпе жителей, увозящей на тележках наиболее ценное из своего имущества, чтобы защитить их от грабежа солдат. Куанье, верховой ординарец из штаба Наполеона, разгоняет солдат, пытавшихся отнимать во время пожара шали и деньги у оставшихся без крова женщин. Дюверже, бывший свидетелем эвакуации населения одного из московских домов, жители которого «плакали с надрывающими сердце рыданиями», защищает их от алчности старой маркитантки, которая, бросившись к больной женщине, лежащей на носилках, рылась в ее одежде, ища спрятанные драгоценности: «Этого с меня было довольно на этот день, чтобы прийти в ярость. Я схватил негодяйку. Да простит мне небо за то, что я ударил женщину!» [Дюверже, с. 24].

Жестокость, бесчувствие, любое отступление от канонов чувствительного поведения во время экстремальных условий грабежа и пожара представляется

авторам мемуаров страшным злом в силу того, что искажает изначально добрую, в соответствии с концепцией Ж.-Ж. Руссо, природу человека. Так, Е. Лабом, описывая разгул огненной стихии в ночном городе, тем не менее делает вывод, что «страшнее всего все-таки был тот ужас, который царил в человеческих сердцах, ужас, который еще более усиливался в ночной тишине» [Лабом, с. 45]. Делаво в своих записках приводит ряд эпизодов, наглядно иллюстрирующих «разгул страстей» во время пожара и грабежа: французский солдат грабит своих соотечественников, жителей московской колонии, не останавливаясь перед тем, чтобы снять с пальца женщины золотое обручальное кольцо, дорогой ей залог верности; один гуманный офицер поручает облагодетельствованного им московского жителя второму офицеру, который, решив, что это поджигатель, приказывает расстрелять его; некто Сент-Р, начальник эскадрона, был ограблен французскими же солдатами-мародерами, и т. д. Подводя итог этим печальным примерам, Делаво делает вывод: «Все эти факты я привел для того, чтобы показать, как разыгрываются страсти во время грабежа, и вовсе не желая внушить дурное мнение о французских солдатах, которые в общем оказались более дисциплинированными, чем союзники» [Делаво, с. 61]. Эта оговорка очень примечательна, так как указывает на тот факт, что подход к описываемому материалу у большинства мемуаристов был нравственно-этический, а не узко политический, предполагающий негативное изображение противника и позитивное изображение своих собственных солдат. При таком нравственно-этическом общечеловеческом подходе к событиям тот или иной факт действительности соотносился в большинстве случаев с некой идеальной эталонной моделью чувствительного поведения и, в соответствии со своим содержанием, получал либо позитивную, либо негативную оценку. В то же время взгляд на отступления от единых морально-этических норм рассматривался как общечеловеческое бедствие, ставящее под угрозу существование самой традиции чувствительного поведения. В силу этого принципа для Делаво принципиально безразлично, кто совершил вышеприведенные поступки, характеризующие «разгул страстей», — французы, русские или союзники. Главным является сам факт их совершения в стихии грабежей и пожаров.

В контексте постоянного нарушения традиций идеального чувствительного поведения любой благородный и гуманный поступок не остается неоцененным. Ярким примером является тот факт, что один и тот же «чувствительный» случай описывается сразу в нескольких мемуарах, становясь общественным достоянием, так как нет сведений, что авторы этих записок были личными свидетелями подобных поступков или же слышали о них из первых уст. Можно сказать, что этот чувствительный эпизод рассматривается мемуаристами как некий утешительный факт, свидетельствующий о том, что человеческая природа при всем своем «озверении» в экстремальных ситуациях все же дает возможность надеяться на ее исправление, вернее, на ее возвращение в исходную идеальную ситуацию. Например, в «Реляции» Е. Лабома среди описаний ужасов, которыми сопровождалось разграбление охваченного пожаром города, находим следующую запись: «Чтобы смягчить впечатление от такого множества бедствий, я хочу напомнить о прекрасном поступке одного французского сол-

дата. Он нашел на кладбище женщину, которая недавно родила: больная находилась без всякой помощи и даже без пищи — и вот этот великодушный солдат, тронутый положением несчастной, окружает ее своими заботами и в продолжение многих дней делился с ней крохами съестных припасов, которые ему удавалось раздобыть» [Лабом, с. 226]. Этот же случай с соответствующими комментариями описывается в мемуарах Делава. Даже если допустить, что Делава «позаимствовал» этот эпизод из «Реляции» Е. Лабома, все равно непреложным остается один факт: действительный эпизод, даже взятый из чужих мемуаров, вводится в состав своих, чтобы подтвердить тем самым общую концепцию многих военных мемуаров того времени: описание любых жестокостей не должно приводить к полному крушению веры в изначально добрую и чувствительную человеческую природу, в тот «инстинкт человечности, от природы заложенный в наших сердцах» [Гриуа, с. 334].

В русской военной мемуаристике главным объектом приложения принципов эталонной чувствительного поведения являются сцены спасения французов во время их губительного отступления из России.

Например, Р. Зотов, впоследствии ставший известным историческим писателем, в своих «Рассказах 1812 года» вспоминает, как во время Березинской переправы французов «ужасные крики отчаяния всей этой массы погибающих людей так явственно были нам слышны, так сильно потрясали наши чувства, что мы имели глупость не раз проситься туда у полковника для спасения несчастных. Мы забывали, что между ими и нами стоят неприятельские колонны» [Зотов, с. 493]. Описывая положение французов, оставшихся на правом берегу Березины, Зотов свидетельствует: «И офицеры, и солдаты брали с собой этих несчастных, чтобы покормить их, укутать чем-нибудь потеплее и сдать для отправления в Витебск» [Там же, с. 494]. Во время перехода из Косина в Долгиново Зотов и его друзья-ополченцы спасают капитана-швейцарца из 32-го полка, которого находят в лесу и, перенеся в сани, «окутав его всем возможным и влив ему в рот несколько рому», привозят на ночлег. Ф. Глинка в «Письмах» с огромным сочувствием описывает положение французов после битвы под Красным, обращает внимание на то бедственное положение некоего заслуженного французского капитана, кавалера ордена Почетного легиона, которому мемуарист вместе с другими адъютантами генерала М. Милорадовича перевязывает рану и кормит супом, то на не менее тяжелое положение множества некомбатантов, сопровождавших наполеоновскую армию в походе: «Как жалко смотреть на пленных женщин! Их у нас много. Одна прекрасная немка, с простреленною рукою, лежит в ближней избе. Ей перевязали рану и, за неимением хлеба, кормят сахаром и корицею» [Глинка, с. 95]. М. Петров в «Рассказах», повествуя о финале французского отступления из России, не может «не вспомнить с благоговением святого, незлобивого умиления наших воинов, отдававших последний свой хлеб умиравшим от голода врагам своим, просившим помощи» [Петров, с. 204]. Такие же сцены можно найти в воспоминаниях А. Ланжерона и О' Рурка, А. Норова и А. Чичерина, П. Чичагова и А. Ермолова, а также других русских мемуаристов, рассказывающих о заключительной фазе войны.

Жестокий финал Отечественной войны 1812 г., когда тысячи людей (прежде всего принадлежащих к французской армии) были обречены на смерть от холода и голода, утонули или были раздавлены в давке при березинской переправе, подверг суровому испытанию прирожденное, по мнению людей того времени, чувство «чувствительности». Это приводит к неизбежному конфликту между чувствительностью как нормативным этическим чувством, предписанным человеку «эпохой чувствительности» (термин А. Н. Веселовского), и «правдой голого факта» мемуарного текста, диктуемой суровыми реалиями «грозы» 1812 г.

Мемуаристы, как правило, переживают жесточайший нравственный кризис и испытывают нестерпимые муки совести от того, что повседневная практика этого ужасного отступления зачастую давала образцы далекого от идеалов чувствительности поведения, искажая благородную природу человеческой души. Лучше всего это чувство выразил Е. Лабом: «Этот поход был тем более страшен, что совершенно исказил наш характер, и у нас появились пороки, чуждые нам до сих пор. Люди, бывшие до этого времени честными, чувствительными, великодушными, сделались теперь скупыми, ростовщиками и алчными» [Лабом, с. 346]. Об этом же свидетельствуют и другие мемуаристы великой армии: Л. Ф. Лежен и О. Тирион, В. де Маренгоне и М. Комб, Б. А. Ж. Бургонь и Франсуа. Даже романтичный Ц. Ложье, описывая переправу через Березину, вынужден был признать: «В ночь с 26 на 27 нужда обратила людей в варваров. Люди чуть не насмерть дрались за краюху хлеба, за щепотку муки, за кусок лошадиного мяса или за охапку соломы. <...> И все это происходило между людьми порядочными, которые до сих пор питали друг к другу чувство искренней дружбы! Надо сказать правду, что этот поход (в чем заключается весь его ужас) убил в нас все человеческие чувства и вызвал пороки, которых в нас раньше не было» [Ложье, с. 197].

Однако, несмотря на жестокость подобных откровений, нарушение самим автором-мемуаристом эталонного чувствительного поведения обычно рассматривается им как непростительный поступок, заслуживающий всяческого осуждения и порицания.

Так сержант А. Ж. Б. Бургонь вспоминает, как во время отступления ему самому «привелось поступить бессердечно по отношению к истинным друзьям» [Бургонь, с. 55]. Бессердечие было связано с нежеланием автора мемуаров поделиться своей «добычей», несколькими мерзлыми картошками, спрятанными в ягдташ со своими товарищами, жестоко страдающими от голода: «...с моей стороны это был эгоистический поступок, который я никогда себе не прощу!» [Там же, с. 57].

Такой же случай происходит с врачом Г. Роосом, отказавшимся поделиться своим «счастливым приобретением» (несколькими бутербродами и стаканом красного вина) с ротмистром Рейнгардтом, с которым в течение последних лет жил по-братски. Роос пишет, что долго упрекал себя в этом поступке, пока пять лет спустя Рейнгардт в ответ на его извинительное письмо не заверил мемуариста в том, что давно простил его за этот досадный случай, принимая во внимание, что «тогдашнее печальное положение побуждало многих поступать вопреки желанием сердца» [Роос, с. 100].

Традиции чувствительности, идущие от литературы, философии, нравов эпохи, сталкиваясь с жестокой действительностью, вызвали у авторов ощущение крушения привычных моральных жизненных ориентиров, постоянно ставили человека в состояние выбора. Личность должна была либо «плыть по течению», приняв эгоистическую мораль толпы, либо пытаться противопоставить ей свою линию поведения. Подобное столкновение противоположных чувств и стремлений — желания выжить, спастись любой ценой и желания не уронить своего человеческого достоинства — могло стать причиной позднейших нравственных страданий мемуариста, но оно же могло стать причиной позднейшей гордости и надежды на изначальную доброту человеческой натуры. Можно сказать, что, несмотря на все ужасы отступления, на все «обесчеловечивание» человека, мемуаристы в основном не теряли своей веры в идеалы добра и гуманизма. Поэтому они, искренне ужаснувшись глубине человеческого падения в дни бедствий и отчаяния, все же сохраняют свою веру в чувствительность человеческого сердца. Так, тот же Бургонь, правдиво описав возмутительные случаи, в которых торжествует эгоизм и равнодушие людей (в том числе и самого себя), все же заключает: «Надо прибавить, впрочем, что хотя во время этой бедственной кампании было совершено много жестокостей, зато попадалось и немало поступков человеколюбия, делавших нам честь — не раз случалось мне видеть, как солдаты в продолжение нескольких дней тащили на плечах раненых офицеров» [Бургонь, с. 67].

Кирасирский офицер О. Тирион в эпоху всеобщей деморализации при переправе через Березину демонстрирует эталонное чувствительное поведение, ведя «под руки и поддерживал товарища, раненного ночью саблей в бедро» [Тирион, с. 265]. Кастеллан во время отступления за Березину без колебаний уступает свое место в санях раненому офицеру Бруквиллю и переходит Неман пешком с «лихорадкой вследствие нагноения и гангрены руки» [Кастеллан, с. 417]. Ц. Ложье до конца жизни был уверен, что своей жизнью он был обязан французскому капитану Дальстейну, который 16 ноября 1812 г. в окрестностях Лубян спас его от замерзания, дав выпить водки и посадив в свои сани. Этот благородный поступок заставляет Ц. Ложье записать в дневнике нравственно-этическую сентенцию, посвященную человеческой благодарности как важнейшей добродетели личности: «Быть может... до тебя, мой чудный и бравый Дальстейн, дойдет когда-нибудь это выражение моей признательности не за жизнь, которую ты мне сохранил, а за твой доблестный и великодушный поступок, какой ты способен был совершить» [Ложье, с. 176].

Все эти примеры свидетельствуют о том, что жестокие реалии действительности оказались все же не в состоянии разрушить веру человека Наполеоновской эпохи в идеалы мужества, чувствительности, чести. Это принципиально отличает культурно-исторический менталитет людей 1800—1810-х гг. от менталитета людей Первой мировой войны, людей «потерянного поколения», для которых жестокость, бесчеловечие и бессмысленность войны становятся решающими факторами, определившими их дальнейшее разочарование в жизни, невозможность найти себе места в этом безумном мире.

Исследование гуманистического дискурса военной мемуарно-автобиографической литературы Наполеоновской эпохи делает понятными и вполне

объяснимыми многие сцены и сюжетные линии из повестей и романов, написанных в 30–40-е гг. XIX в. и посвященных событиям Наполеоновских войн. Подобные сцены большинство современных исследователей объясняют либо общей эстетикой романизма, либо индивидуальной широтой взглядов и гуманизмом авторов этих произведений. Между тем в этих сценах как в зеркале отразился культурно-исторический менталитет времени, вызвавшего их к жизни. И первое, что бросается в глаза при чтении этих романов, — это необходимое присутствие в них эпизодов, в которых реализуется философия гуманизма и братских отношений между представителями различных военных лагерей, в данном случае — между русскими и французами. Однако эта философия определяется не абстрактно-пацифистскими убеждениями авторов этих произведений (как это будет в эпоху I Мировой войны), но желанием писателей представить в своих произведениях идеальную схему реализации законов чести.

Например, в повести А. Бестужева-Марлинского «Вечер на бивуаке» один из героев кирасирский поручик князь Ольский, удрученный отсутствием провианта в русском лагере, едет отобедать к французам, по рыцарскому обычаю твердо уверенный, что те не заставят его заплатить за «шутку вольностью». Французы пируют с ним до вечера, а на прощанье нагружают его чемоданы съестными припасами. Эта сцена очень напоминает известный военный анекдот 1812 г. о князе Ф. Гагарине, адъютанте П. Багратиона, который накануне Бородинского сражения якобы на пари ездил к Наполеону, чтобы отвезти ему несколько фунтов чая, благополучно возвратившись впоследствии в русский лагерь.

Законы чести регулируют отношения между офицерами Сеникуром и Зарецким, с одной стороны, и Рославлевым и Шамбюром — с другой, в известном патриотическом романе М. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году». Сеникур, спасенный Зарецким от смерти в бою, платит ему долг чести, помогая благополучно выбраться из занятой французами Москвы. Шамбюр, захвачив в плен Рославлева при осаде Данцига, обращается с ним как с другом, покровительствует ему и защищает его в соответствии с законами чести, по которым оскорбление пленного, которого ты пленил, равносильно личному оскорблению тебя самого. В романе Н. Греча «Черная женщина» французский полковник Удэ, взяв в плен поручика графа Кемского, окружает его трогательной заботой, и авторитет его имени является для Кемского надежной защитой во всех ситуациях. В романе Р. Зотова «Леонид, или Несколько дней из жизни Наполеона» один из героев, Евгений Силин, победив в бою польского офицера графа Станислава Заборовского, предлагает ему свободу. Впоследствии он находит в своем бывшем противнике верного и преданного друга, который, в свою очередь, возвращает ему свободу, готов защищать его с оружием в руках и в конце концов помогает ему получить руку своей сестры Юзефы. В романе Н. Коншина «Граф Обоянский, или Смоленск в 1812 году» «добрым ангелом» раненного и пленного полковника Богуслова оказывается ветеран Наполеоновских войн барон Беценваль, который способствует соединению Богуслава с любимой девушкой Софьей Милославской.

Гуманистический дискурс всех этих художественных произведений XIX в. тесно связан со спецификой культурно-исторического менталитета людей Наполеоновской эпохи. Времени, когда человек, как правило, ненавидел своих противников, и военных, и политических, только как абстрактную враждебную силу, угрожающую независимости отечества или его собственным политическим и гражданским свободам, не перенося своей ненависти на конкретных частных лиц.

Всякий раз, когда ему приходилось сталкиваться лицом к лицу с конкретными представителями этой враждебной силы, место абстрактного состояния ненависти и вражды сразу же занимала идея естественного человеческого братства. Возникало желание строить свои отношения с ними по закону сердца и чувства, на основе принципов гуманизма и взаимопонимания. Только в атмосфере подобного сознания могла возникнуть и воплотиться на практике гуманистическая проблематика «Капитанской дочки» или неоконченной повести «Рославлев» А. С. Пушкина.

Акинфов Ф. В. Разговор с Мюратом // Россия двинулись сыны. Записки об Отечественной войне 1812 года ее участников и очевидцев. М., 1988. С. 180–186. [Akinfov F. V. Razgovor s Myuratom // Rossii dvinulis' syny. Zapiski ob Otechestvennoj vojne 1812 goda ee uchastnikov i ochevidtsev. M., 1988. S. 180–186].

Афанасьев В. В. Дивный феномен нравственного мира // Дурова Н. А. Избранное. М., 1984. С. 5–28. [Afanas'ev V. V. Divnyj fenomen npravstvennogo mira // Durova N. A. Izbrannoe. M., 1984. S. 5–28].

Боссе Л. Ф. Мемуары // Французы в России: 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев : в 2 т. Т. 2. М., 2001. 782 с. [Bosse L. F. Memuary // Frantsuzy v Rossii: 1812 god po vospominaniyam sovremennikov-inostrantsev : v 2 t. T. 2. M., 2001. 782 s.].

Бургонь А.-Ж.-Б. Мемуары. М., 2003. 176 с. [Burgon' A.-Zh.-B. Memuary. M., 2003. 176 s.].

Виньи А. де. Неволя и величие солдата. М., 1968. 187 с. [Vin'i A. de. Nevolya i velichie soldata. M., 1968. 187 s.].

Волконский С. Г. Записки. Иркутск, 1991. 512 с. [Volkonskij S. G. Zapiski. Irkutsk, 1991. 512 s.].

Галкин М. С. Новый путь современного офицера // Офицерский корпус русской армии. Опыт самопознания. М., 2000. С. 369–378. [Galkin M. S. Novyj put' sovremennogo ofitsera // Ofiterskij korpus russkoj armii. Opyt samopoznaniya. M., 2000. S. 369–378].

Гладков А. Мемуары — окна в прошлое // Вопр. лит. 1974. № 4. С. 122–131. [Gladkov A. Memuary — okna v proshloe // Vopr. lit. 1974. N 4. S. 122–131].

Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. М., 1990. 448 с. [Glinka F. N. Pis'ma russkogo ofitsera. M., 1990. 448 s.].

Грица. Записки // Россия первой половины XIX века глазами иностранцев. Л., 1991. 719 с. [Griца. Zapiski // Rossiya pervoj poloviny XIX veka glazami inostrantsev. L., 1991. 719 s.].

Давыдов Д. В. Военные записки. М., 1982. 464 с. [Davydov D. V. Voennye zapiski. M., 1982. 464 s.].

Делаво. Мемуары // Французы в России: 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев : в 2 т. Т. 2. М., 1912. 228 с. [Delavo. Memuary // Frantsuzy v Rossii: 1812 god po vospominaniyam sovremennikov-inostrantsev : v 2 t. T. 2. M., 1912. 228 s.].

Дурова Н. А. Кавалерист-девица. Происшествие в России // Избр. соч. Н. Дуровой. М., 1983. С. 25–260. [Durova N. A. Kavalerist-devitsa. Proisshestvie v Rossii // Izbr. soch. N. Durovoj. M., 1983. S. 25–260].

Дюверже. Записки // Французы в России: 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев : в 2 т. Т. 2. М., 1912. 228 с. [Dyuverzhe. Zapiski // Frantsuzy v Rossii: 1812 god po vospominaniyam sovremennikov-inostrantsev : v 2 t. Т. 2. М., 1912. 228 s.].

Зотов Р. Рассказы о походах 1812 года // России двинулись сыны. Записки об Отечественной войне 1812 года ее участников и очевидцев. М., 1988. С. 461–498. [Zotov R. Rasskazy o pokhodakh 1812 goda // Rossii dvinulis' syny. Zapiski ob Otechestvennoj vojne 1812 goda ee uchastnikov i ochevidtsev. М., 1988. S. 461–498].

Ермолов А. П. Записки. М., 1991. 463 с. [Ermolov A. P. Zapiski. М., 1991. 463 s.].

История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Вып. 7. М., 1996. 655 с. [Istoriya Otechestva v svidetel'stvakh i dokumentakh XVIII–XX vv. Вып. 7. М., 1996. 655 s.].

Кастеллан. Дневник // Россия первой половины XIX века глазами иностранцев. Л., 1991. [Kastellan. Dnevnik // Rossiya pervoj poloviny XIX veka glazami ino-strantsev. L., 1991].

Лабом Э. Полная реляция похода в Россию в 1812 году // Французы в России: 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев : в 2 т. Т. 2. М., 1912. 228 с. [Labom E. Polnaya relyatsiya pokhoda v Rossiyu v 1812 godu // Frantsuzy v Rossii: 1812 god po vospominaniyam sovremennikov-inostrantsev : v 2 t. Т. 2. М., 1912. 228 s.].

Лажечников И. И. Походные записки русского офицера 1812, 1813, 1814, 1815 годов. М., 1836. 286 с. [Lazhechnikov I. I. Pokhodnye zapiski russkogo ofitsera 1812, 1813, 1814, 1815 godov. М., 1836. 286 s.].

Ложье Ц. Дневник офицера Великой Армии в 1812 году. М., 2005. 226 с. [Lozh'e TS. Dnevnik ofitsera Velikoj Armii v 1812 godu. М., 2005. 226 s.].

Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – нач. XIX века). СПб., 1994. 399 с. [Lotman YU. M. Besedy o russkoj kul'ture: Byt i traditsii russkogo dvo-ryanstva (XVIII – nach. XIX veka). SPb., 1994. 399 s.].

Марбо М. де. Мемуары генерала барона де Марбо. М., 2005. 736 с. [Marbo M. de. Mемуary generala barona de Marbo. М., 2005. 736 s.].

Маренгоне В. Воспоминания // Французы в России: 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев : в 2 т. Т. 2. М., 1912. 228 с. [Marengone V. Vospominaniya // Frantsuzy v Rossii: 1812 god po vospominaniyam sovremennikov-inostrantsev : v 2 t. Т. 2. М., 1912. 228 s.].

Михайлов А. В. Античность как идеал и культурная реальность XVIII–XIX вв. // Античность как тип культуры. М., 1988. С. 308–324. [Mikhajlov A. V. Antichnost' kak ideal i kul'turnaya real'nost' XVIII–XIX vv. // Antichnost' kak tip kul'tury. М., 1988. S. 308–324].

Наполеон Бонапарт. Путь полководца. М., 2008. 672 с. [Napoleon Bonapart. Put' polkovodtsa. М., 2008. 672 s.].

Наставление к самодисциплине и самовоспитанию. Собрание писем старого офицера к своему сыну // История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Вып. 7. М., 1996. С. 96–98. [Nastavlenie k samodistsipline i samovospitaniyu. Sobranie pisem starogo ofitsera k svoemu synu // Istoriya Otechestva v svidetel'stvakh i dokumentakh XVIII–XX vv. Вып. 7. М., 1996. S. 96–98].

Николаев С. И. Первая четверть XVIII века: эпоха Петра I // История русской переводной художественной литературы : Древняя Русь, XVIII век. Т. 1 : Проза. СПб., 1995. С. 74–94. [Nikolaev S. I. Pervaya chetvert' XVIII veka: epokha Petra I // Istoriya russkoj perevodnoj khudozhestvennoj literatury : Drevnyaya Rus', XVIII vek. Т. 1 : Proza. SPb., 1995. S. 74–94].

Норов А. С. Воспоминания // России двинулись сыны. Записки об Отечественной войне 1812 года ее участников и очевидцев. М., 1988. С. 336–378. [Norov A. S. Vospominaniya // Rossii dvinulis' syny. Zapiski ob Otechestvennoj vojne 1812 goda ee uchastnikov i ochevidtsev. М., 1988. S. 336–378].

Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа. М., 1963. 374 с. [Orlov M. F. Kapitulyatsiya Parizha. М., 1963. 374 s.].

Офицерский корпус русской армии. Опыт самопознания. М., 2000. 639 с. [Ofiterskij korpus russkoj armii. Opyt samopoznaniya. М., 2000. 639 s.].

Петров М. М. Рассказы служившего в I егерском полку полковника Михаила Петровича о военной службе и жизни своей и трех родных братьях его, зачавшейся с 1789 года // 1812 год: воспоминания воинов русской армии. М., 1991. С. 104–356. [Petrov M. M. Rassказы sluzhivshogo v I egerskom polku polkovnika Mikhaila Petrovicha o voennoj sluzhbe i zhizni svoej i trekh rodnykh brat'yakh ego, zachavshejsya s 1789 goda // 1812 god: vospominaniya voinov russkoj armii. M., 1991. S. 104–356].

Роос Г. С Наполеоном в Россию. М., 2003. 208 с. [Roos G. S Napoleonom v Rossiyu. M., 2003. 208 s.].

Сегюр Ф. де. Поход в Россию : мемуары адъютанта. М., 2002. 284 с. [Segyur F. de. Pokhod v Rossiyu : memuary ad'yutanta. M., 2002. 284 s.].

Солтык Р. Наполеон в 1812 году // Россия первой половины XIX века глазами иностранцев. Л., 1991. 719 с. [Solytk R. Napoleon v 1812 godu // Rossiya pervoj poloviny XIX veka glazami inostrantsev. L., 1991. 719 s.].

Тирион О. Воспоминания офицера // Французы в России: 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев : в 2 т. Т. 2. М., 1912. 228 с. [Tirion O. Vospominaniya ofitsera // Frantsuzy v Rossii: 1812 god po vospominaniyam sovremennikov-inostrantsev : v 2 t. T. 2. M., 1912. 228 s.].

Тучков П. А. Мои воспоминания о 1812 годе // России двинулись сыны. Записки об Отечественной войне 1812 года ее участников и очевидцев. М., 1988. С. 309–326. [Tuchkov P. A. Moi vospominaniya o 1812 gode // Rossii dvinulis' synu. Zapiski ob Otechestvennoj vojne 1812 goda ee uchastnikov i ochevidtsev. M., 1988. S. 309–326].

Францева М. Д. Из воспоминаний М. Д. Францевой о М. А. Фонвизине // Декабристы в воспоминаниях современников. М., 1988. С. 166–167. [Frantseva M. D. Iz vospominanij M. D. Frantsevoj o M. A. Fonvizine // Dekabristy v vospominaniyakh sovremennikov. M., 1988. S. 166–167].

Хейзинга И. Homo ludens. М., 1992. 464 с. [Khejzinga I. Homo ludens. M., 1992. 464 s.].

Шаховской А. А. 1812 год. Воспоминания князя А. А. Шаховского // Русский архив. 1886. Кн. 3, № 11. С. 372–402. [Shakhovskoj A. A. 1812 god. Vospominaniya knyazyu A. A. Shakhovskogo // Russkij arkhiv. 1886. Kn. 3, N 11. S. 372–402].

Статья поступила в редакцию 25 октября 2012 г.